

18+ *Дазарь Соколовский*

Раннее

позднее



Лазарь Соколовский

Раннее позднее

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=63015813

ISBN 9785005165824

Аннотация

В настоящей книге представлены стихи, написанные в 70-90-е годы прошлого века, и совсем недавние – конца 10-х годов века нынешнего. Первые были изданы крошечным тиражом в сборниках «Из семи книг» и «Сыновья» и теперь заново отредактированы автором. Возможно, вместе с последующими двумя сборниками «Век уходящий» и «Диалоги», а также с четырьмя книгами, вышедшими перед этой в «Издательской группе Ридеро», они вызовут интерес у сотен тогдашних студентов автора и у нынешних любителей поэзии.

Содержание

Раннее	7
Апрель	7
Ноябрьские просьбы	9
У Чехова	10
Ямбы	12
1. Аллея Керн	12
2. Премьера «Ревизора»	17
3. Решение	21
4. Post Factum	24
Восточней сотого меридиана	27
Ответ-вопрос	29
Венгерская осень	31
1. Из-за кулис	31
2. Вид сверху	34
3. У обрыва	36
4. Письмо,	38
написанное в подмосковном лесу	
5. Языковый барьер	41
Стихи из сказки	44
1. Нищий	44
2. Станный человек	46
3. Царь	47
4. Истина	49

5. Голгофа	51
Шахматово	54
О ней...	57
Голоса из ниоткуда	58
К сопричастности	60
К бродяжничеству	62
Конец лета в Прибалтике	64
Последний романтик	66
Приметы	69
Успение	72
Аналогии	75
1. Время лобное	75
2. Марины	77
К мемориалам	81
Судьба	86
Листая библию	88
Обнаженная	90
При кончине Петра I	92
Два лермонтовских отрывка	96
О той войне	100
Плач по...	102
Ночное купание	104
На рынке	106
Троица	108
Подруги художников	111
К музыке	113

Полковник Ракеев	115
Страстная неделя	118
У Пастернака	120
Пришелец	122
К началу лета	123
Играем Шекспира	125
Черта	127
Песня кантора	130
К урокам истории	133
Февральский зазимок	135
В эстонском сельском храме	137
1. Литургия	137
2. Плач Магдалины	138
3. Замена	139
Конец ознакомительного фрагмента.	141

Раннее позднее

Лазарь Соколовский

Алла Соколовская *Редактор*

Алла Соколовская *Дизайнер обложки*

© Лазарь Соколовский, 2020

© Алла Соколовская, дизайн обложки, 2020

ISBN 978-5-0051-6582-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Раннее

Апрель

Вчера, о смерти размышляя...
Н. Заболоцкий

Я думал о смерти... Играя в сраженье,
апрель подготавливал переворот,
и поле, и лес погружались в скольженье —
то оттепель душ, то сердец гололед.

Зима умерла, но застывшее тело
снегами чернело еще кое-где,
сквозь листья, что осенью смерть одолела,
трава прорывалась по пояс в воде.

Среди похорон через все атрибуты
тоски, увязающей в небытии,
в лесу оживали иные маршруты,
где с боем разведку вели муравьи.

И с той, уходящею напрочь, навечно,
уже неживою, чужою молвой
прощались весенним своим бессердечьем

деревья, спешащие на водопой.

Я думал о смерти... Апрель, как глашатай,
с двойными вестями спешил в города,
зима уходила за память куда-то
все дальше и дальше, почти навсегда.

Лишь разом, как требует всякий покойник,
вдруг стихло галдевшее хором птичье —
апрель, опершись на сырой подоконник,
минутой молчанья почтил и ее.

Ноябрьские просьбы

Невыходите из лесов,
не возвращайтесь от окраин,
здесь бескорыстней птичьей стаи
и ветры мелодичней слов.

Здесь хватит золота для всех,
здесь щедро льет осенний пламень —
березы уплывают вверх
шероховатыми стволами.

Здесь, погружаясь в листопад,
в стволов размерное круженье,
мы тоже – вечное движенье,
где гам и тишь, где взрыв и спад.

Не выходите из лесов,
не возвращайтесь от окраин —
здесь мы поем и здесь сгораем,
здесь эхо наших голосов.

У Чехова

В Лопасне налево, дубовым леском,
и через овраги по рыжим застрехам —
к грачиным баракам, к собравшейся в ком
деревне, где скажут, что помнится Чехов.

Молчановский вальс погружается в сад,
им вишня полна и крыжовенный кустик,
и дышится как-то, как здесь говорят,
лукавинкой чеховской, чеховской грустью.

А дом небольшой окружили поля
тяжелю, кислою, русскою глиной,
где сыплют свое серебро тополя
по вязким дорогам, где к воплям грачиным

привыкли давно, где нелегкой судьбой
кого удивишь. Так молчи, коль не спросят...
Где небо, как чайка, плывет за тобой
до самой Оки да и замертво в осень
бросается...

И, опустевшая, вдруг
застынет природа, как перед разладом,
и в высь безысходную двинется стук
того топора по вишневому саду!

И в ночь выплывает в пустой небосклон
все тот же по-жуковски месяц двугорбый,
и кажется, будто бы мир повторен
и в чеховской вере, и в чеховской скорби...

О мой человек, о скупой адресат
палаты, не знаю которой по счету,
давай мы насадим такой же вот сад
и будем работать! И будем работать!

Ямбы

(по пушкинским вехам)

1. Аллея Керн (1825 года июля 19 дня)

Я помню чудное мгновенье...
А.С.Пушкин

*Бич жандармов, бог студентов,
Желчь мужей, услада жен...*
М. Цветаева

Аллея Керн...

А в Петербурге в зиму
едва знаком, среди светской голытьбы
ощупал взглядом и промчался мимо —
курчавый дьявол, баловень судьбы.

Прошло шесть лет...

- Вы все такой же пылкий.
- Вы так же и красива, и строга.
- Вам надо быть серьезней.
- Чтобы в ссылке
мужьям придворным не дарить рога?

Аллея Керн...

– Пойдемте, Аня, к дому, —
и локоть сжал, рвя слов гнилую нить.

– А что так, Саша?

– Принесет знакомых – уж вечер.

Не дадут договорить.

И думают...

Она: «Мне здесь опасно

остаться долго... Пусть, скажу – больна.»

Он: «Боже, боже! как она прекрасна!

Да жаль, что генеральская жена.»

Вслух:

– Тетушка все сердится немного?

– Да, кружится в хозяйственном чаду.

– Две дочери, еще бы...

– Мне в дорогу...

– Не раньше, чем...

– Ах, Саша! я ж иду...

Конец аллеи – вот уж дом, ступени...

Что болтовня о тайнах звезд и лун:

– Мой бог! какие у тебя колени!

– Ах, встань! Какой же, право, ты шалун!

Едва взошли, как шаркает навстречу

Арина: – Ужинать? Прикажешь дать вина?

– Потом, поди... Мой бог! какие плечи!

– Но, Саша, не спеши, ведь не война...

– Мой ангел, очередность не в манере.

– А в чем?

– В избытке наших чувств и сил.

– Что ж прежде?

– Прежде нам служить Венере! —
шепнул и разом свечи загасил...

Аллея Керн...

Возвышенные звуки

пришли потом, когда он был один —
здесь губы жадные, блуждающие руки...

– Мой бог!..

Как мог дожить он до седин,

когда кругом так беспросветно скучно,
и что другим полет его, размах...

«Там, в 50, и тело непослушно,
а здесь такое тело – прямо ах!

Случится, что женюсь, заматерею
и, верно, успокоюсь как-нибудь:
дом, дети...»

– Саша, назовут аллею
когда-нибудь... – Мой бог! какая грудь!

«Хотя бы 37, никак не боле,
и славы не скопить на пьедестал...»

Аллея Керн...

«Тогда и с этой ролью
смирюсь...» И шепот медленно стихал.

Одежды – прочь! И в пропасть, и в паденье,
всегда, как будто в самый первый раз!..

Уже потом:

– Грешим ведь...

– Про запас —

сначала опыт, от него – творенье.

– А пишется?

– Когда я с музой дружен,
как вот сейчас, с лихвою.

– Не спугни.

Затем какой-то стол, какой-то ужин...

– Не будет нагоняя от родни?

– Нет, но пора.

– Я провожу.

– Приличней
одной.

– Ах, деревенский этикет...

– Молва не врет – ты вправду фантастичен!

– И о тебе узнает мир – не свет.

Коляска у крыльца.

– Прощай!

– Прекрасно

все было...

– Да. Но больше не балуй!

– Ты знаешь, Аня, обещать опасно...

– Ах, ты наглец...

Последний поцелуй.

И вот ушла. Но в лунном обрамленье
еще он долго контур различал.

Уже шепталось «Чудное мгновенье»,
где умолчал...

Ах, разве умолчал!

Вглядитесь – он опять живой и пылкий,
и блеск в глазах в ответ на милый смех,
вчитайтесь – снова встречи на развилках
и взгляд не сверху вниз, а снизу вверх.

Ах, разве умолчал! Опять свиданья,
речей нескромных тайный шепоток,
и руки! руки! (нет вам оправданья!),
и сердца бешеного спущенный поток!

И вновь взиграет страстью каждый мускул,
покуда не прошла еще пора,
и чувственность опять приняв за чувство,
пробьется плоть на кончике пера.

Аллея Керн...

один... в тоске... в неволе...

тебя за сладкий миг благодаря,

еще он будет корчиться от боли,
деля судьбу героев декабря.

2. Премьера «Ревизора» (1836 года января 18 дня)

Барон Розен гордился тем, что, когда Гоголь на вечере у Жуковского в первый раз прочел своего «Ревизора», он один из всех присутствовавших не показал автору ни малейшего одобрения и даже ни разу не улыбнулся и сожалел о Пушкине, который увлекся этим оскорбительным для искусства фарсом и во все время чтения катался от смеха.

И.И.Панаев.

Литературные воспоминания

Январь. Пурга. Опять какой-то шеголь,
забыв порядок стройный – на ура
по Невскому (поспеть бы!) мчится Гоголь
с комедией, законченной вчера.

У моста:

– Тпру-у! Не в очередь, шальные! —

из будки вдруг жандармские уста. —

Кого везешь? —

– Да вот, везу Россию...

– Ну что ж, вези...
(до первого поста).

Подъехали. Уже стоят повозки.
(Ах, опоздал! Неловко, но... молчок!)
Уже спешит лысеющий Жуковский:
– Ну, где тебя... Собрался весь кружок.

– Да не достанет такой минуты.
Что, Пушкин здесь?
– Здесь, здесь!
– Тогда одно б...
– Потом, мой друг, когда забьют салюты.
– Василь Андреич, вытру только лоб!

Все, как в театре: долго не садятся,
шуршанье, взгляды, тайный шепоток.
– Идем же, ну!
– Как тут не волноваться...
Ах, черт возьми, куда девал платок!

Вот наконец расселись, слава богу,
в передней пусто, кресла не скрипят,
и бледный Гоголь начал понемногу,
с тревогою косясь на первый ряд.

Все, как в театре: свет полупритушен,
зеркал-пророчиц яростный провал —
а он стоял, прыщавый, золотушный,

и с каждой фразой словно оживал.

И понеслось!..

О, сколько надо пыла:

бесчинства, взятки, тупость, фальшь, разор —
чтоб разом ухватить свиные рыла
и напрямиком на сцену, на позор!

Как смех гремел восторженно и гордо
в обычный день такого января!

Смотрел, не понимая, Держиморда,
похожий почему-то на царя:

– Что за толпа? Зачем они хохочут?
Не велено! Извольте разойтись! —
а смех до слез, до одури – нет мочи!
Плешивая Россия, подавись!

Какой театр одного актера
вмещал сегодня скромный этот зал —
о, как читал им Гоголь «Ревизора»!
Как Пушкин, свесясь с кресла, хохотал!
Все видел он: восторг, хулу и славу,
и ревность (сам сраженный ею мавр),
и долгий путь, и истинное право
на тернии, сокрытые под лавр.

Ему ль не знать, когда орлиным взором
задолго предугадывал вперед...

Захваченный с поличным «Ревизором»,
он твердо шел на свой последний год.

Нет, тяга в нем к свободе не остыла,
хоть знал: бунт – только кровь, а не прогресс
какой-то хоть, так... передержка пыла.
Он видел: вся Россия – город эС...,

но хохотал!

Уже закончил Гоголь,
сиял Жуковский, отирая пот.

На осторожный возглас:

– Ах, не много ль?.. —

очнулся Пушкин:

– В яблочко, вот-вот!

Я искренне завидую, приятель,
хоть, право, сам же одолжил сюжет,
боюсь лишь, как бы цензор наш не спятил:
здесь не урежешь – все сплошной секрет!

Но т-сс, смотри: как раскраснелся Розен,
клянусь, уже готов строчить донос.

Таких не прошибешь стихом ли, прозой —
что ж, мы в России... Но не вешай нос

и привыкай рассматривать иначе
успех, коли и дальше суждено:
они хохочут, если мы заплачем,

но как они молчат, коль нам смешно!..

Здесь прямо в точку, некуда сильнее.

– Роман бы, где Россию всю донести...

– Да не спеши, куда... еще успеешь,
какие твои годы... – Двадцать шесть!

Уж за полночь. Они все говорили,

устроившись в углу на канаве.

Все съехали. Жуковский спал. В бессилье

мороз писал на окнах «Г» да «П».

3. Решение **(1837 года января 25 дня)**

Опять письмо без подписи... О, боже! —

сама судьба, видать, гналась за ним.

Как ненавидел он все эти рожи,

за коими трусливый аноним!

Оскалился – в открытый бой когда бы!

Куда... и ближний круг подозревал,

что Пушкин жизнь поставил из-за бабы

на кон судьбы. Какой смешной финал...

Однако – время... Разобрал бумаги:
журнал, черновики, блокнот, дневник,
взял чистый лист и пистолеты, шпаги
на нем марал – а план уже возник!

Нет, он не ревновал – какая ревность,
уж целый год он не был ей любим,
ушла из глаз мечта, из строк напевность —
все больше проза властвовала им.

Нет, он уже не тот настырный, пылкий
влюбленный юноша и опытный сатир,
вождь вакханалий, корифей бутылки,
лихой уездных барышень кумир.
Примчится, нашумит, накуролесит,
стихов напосвящает, эпиграмм:
– Среди просторов русских мир так тесен,
особенно в кругу прекрасных дам!..

Как мог он скромно подойти под ручку,
молчать, надувшись, изредка вздыхать,
взорваться вдруг, себе ж устроив взбучку,
неистово ночами обладать,

затем уйти, не вызвав неприязни,
оставшись другом, а в иной приезд
себя (в который раз!) подвергнуть казни:
– Откуда барышня?!
– Да из соседних мест...

Все это отошло. Иные боли
морщинами на сердце залегли:
как убежать от цепкой царской воли?
как уберечь от сплетен Натали?

И вспомнилось:

– Он вами недоволен
и просит миром погасить раздор
сегодня же.
– Неужто я не волен
за честь свою вступиться, Бенкендорф!

– Ну, нет! – судил, кусая в злобе перья, —
я сам себе ответчик и истец!
Все рушилось: безденежье, безверье
и тот, в мундир обряженный, наглец...

– Нет, государь! – подумалось. – Репризой
не разрешиться шуточке, пока
бьет кровь в груди!
И вот уж колкий вызов
строчит послушно нервная рука.

4. Post Factum (1837 года февраля ...дня)

*И я, поверенный случайный
Надежд и дум его живых,
Я буду дорожить, как тайной,
Печальным выраженьем их.*
М.Ю.Лермонтов

К утру прослышав о кончине,
весь день по городу бродил —
и вымер город, стал пустыней,
когда в нем Он уже не жил.

Толкались щеголи на Невском,
собрался свет на «Фигаро»...
Все то же – слова молвить не с кем,
не то, чтоб вывернуть нутро.

И не успел, все ждал чего-то,
три раза уходил назад,
вот, думал, сладится работа,
который Пушкин будет рад.

Разминулись, не познакомясь,
сошлись, друг друга не видав, —
зачем?

Чтобы продолжить повесть
законности свобод и прав

быть подцензурным, подсудимым...
И то – все лучше ль под замком,
чем, будучи любимцем мнимым,
от царской пули пасть ничком.

Да, царской! Он предпринял меры,
он обласкал, он оградил,
умело подтолкнул к барьеру,
когда терпеть не стало сил,
и кончено!..

С жандармом тайно
повозка двинется во тьму,
чтоб даже «подлый люд» кандалный
поклон не отдал бы ему,

чтоб развенчать в потомках память —
вот разве книги не в огонь...

И Лермонтов скрипел зубами,
и ногти в кровь впились в ладонь!

Так было безотрадно больно
от скрытных этих похорон,
что он судьей стал крамольным,
сам в черный список занесен.

Домой! скорей домой!..

Той ночью
стал полем битвы кабинет,
отмщением без проволочки,
да что таиться – пал Поэт!

Так бить в тугие толпы сброда,
как нож, отточенным стихом!
Пройдет всего четыре года...
– И мне вот так...
– И Русь молчком...

Восточней сотого меридиана

Такая тишь над этой раной,
что вопль немой не оборвать —
восточней сотого меридиана
ни памятников, ни курганов —
бессильно вытянулась гладь.

Вот здесь 37-й погиб,
38-й, 39-й,
тут сосланный 50-й,
когда кончался «перегиб».

И никого...
Лишь редкий гость
застынет, память оживляя.
Все пусто, лишь трава седая
слезой пропитана насквозь.

Нигде цветка не уронить —
ни стен, ни нар, ни погребенья...
Какое русское терпенье —
сперва смолчать, потом забыть!

Дитя медвежьего угла
так и заснуло под охраной...
Здесь тоже родина была,

восточней сотого меридиана,

здесь та же боль и тот же хлеб,
и те же вехи верстовые,
и тот же перехлест судеб
в одной судьбе – в судьбе России.

Ответ-вопрос

Когда-нибудь далекий отпрыск мой
нас обвинит в молчанье и терпенье,
за трусость взяв скорее неуменье
переменить строй муки нажитой.

Да, наше детство шло после войны,
и было нам несытно и непросто,
в коротеньких штанишках не по росту
мы подрастали, времени сыны.

И грянул март... И плач едва угас,
как в клубе заводском, в сыром простенке,
мы подвергали жизнь переоценке,
как и она переоценит нас.

Прибывшейся толпой по-над крыльцом
наш век как будто свой сдавал экзамен,
глазел – кто вождь: тот с хитрыми глазами,
иль тот с суровым, каменным лицом?

И падал снег. И снова шли дожди.
А мы росли... старели... умирали...
Очередной лежал в Колонном Зале —
подумать бы: при чем же тут вожди,

ведь главное, не кто на пьедестале:
им наши судьбы росчерком сухим.
Сейчас-то, вроде, зная, что ж молчим —
тогда, хотя б не ведая, молчали.

Венгерская осень

1. Из-за кулис

Тамашу Майюру, актеру

Растерян, я не знаю, как мне
изобразить подобье черт:
лицо, упрятанное в камне,
в котором Гамлет и Лаэрт

одновременно в дружбе, в ссоре —
мудрец и воин, мысль и меч...
Лицо, уставшее, как море,
застывшее на скатах плеч,

когда мерило зла и боли
одно — издевка над судьбой...
Актер привык, вживаясь в роли,
быть все-таки самим собой.

Хоть зрителю какое дело,
что он, как мы, и пьет, и ест —
пусть душу вытрясет из тела,
чтоб мир обрушился окрест!

Чтоб взвился факел над Дунаем
в пяти шагах от Сэнтэндре!
...Мы все играем и играем
и в августе, и в январе,

не важно, снегу ль по колена,
в листве ль опавшей нет тропы —
вперед! А как узка арена
и шпаги ржавы и тупы...
Перевозиться в краске бурой,
затем спиною на паркет —
все завершится диктатурой,
век генералов и газет!

Но завтра вновь тузить друг друга —
как будто Клавдий виноват,
что в городе – гроза ли, выюга...
Десятый час... Когда ж назад

и как домой с такой хворобой...
Вот, наконец, и Фортинбрас.
Коли, Лаэрт, и едем оба.
Какой Шекспир – десятый час!

С трудом добраться до гримерной.
Какое свинство – так устать!
Сорвать парик, рубаху сдернуть...
Как сердце падает опять

и в голове нудит, как зуммер:
ты, Гамлет – выскочка? гигант?
...Я путаюсь, отравлен? умер? —
нет, пилит старенький «трабант»,

еще чуть-чуть налево в гору
по узким улочкам кривым...
А смог ли Гамлет быть шофером,
сыграть себя немолодым?

Возможно, смог, ведь он упрямый,
да нет – взять просто, что лежит.
С чего ввязался в эту драму —
корона ль портит аппетит.

Пускай не так, не сяк, не этак —
все, как ни тщись, крепка стена...
Не завещали разве деды
фарс, где интрига не сложна:

любви с полушку, воз терпенья,
с поллитра верности друзей...
Кто больше стоит сожаленья —
чем дальше в жизнь, тем все трудней.

...Вот и последняя канава,
подъем и крашенный забор...
Ты прав, актер, какое право

имеем мы на перебор:

играют нами – мы играем
на ярмарке ли, при дворе,
как те же тени над Дунаем
в пяти шагах от Сэнтэндре.

2. Вид сверху

Петеру Фракнои, врачу-травматологу

Здесь дорога бежит серпантинном,
слева Геллерт, направо Дворец,
едем в гору – не хлебом единым,
сколько можно кутить наконец.

Жми! Пусть рвется в погоне за счастьем
разговора негромкого нить —
по конечностям больше ты мастер,
я ж сподобился души лечить.

Легким пухом багровым и красным
кроет осень изъяны земли.
Утешаемся – вдруг не напрасны
наши будни. Уже «жигули»

наверху. Ну, и вид с Яникула!

Город замер, огни разбросав.
Вспомни время иного разгула,
костобог – костолом, костоправ,

как в деревне скрывались ребята
с обнаженными лунами глаз...
Горизонт полыхал в 45-м —
и кому было думать о вас,

когда все начиналось сначала,
когда все узнавалось впервой,
когда люди ползли из подвалов,
изумляясь на мир голубой...

Этот город пожаров, развалин,
город несостоявшихся детств —
как о смерти отцов узнавали!
как гибли под тяжестью жертв!

Так в 12 седели мальчишки,
века вывихов столь перебрал...
Что бы дали вам нового книжки,
костобог – костолом, костоправ?

И хоть скажешь, что в прошлом остался
тот диагноз, за временем, за...
как бы ты ни шутил, ни смеялся,
я-то вижу – печальны глаза...

Мир, увы, так же падок на травмы —
дух ли сломлен, коленный сустав,
чтоб на помощь примчался как равный
костобог – костолом, костоправ

успокоить – мол, что тут такого:
век гигантский – гигантский размах...
А предчувствие горя людского
где-то прячется в добрых глазах,

в уголках молчаливой улыбки,
в незаметных движениях рук...
Вниз дорога. Осенние скрипки,
словно дружба, приходят не вдруг.

3. У обрыва

*Памяти венгерского поэта Миклоша Радноти,
расстрелянного фашистами в 1944-м году*

Их в деревню к ночи привели,
выстроили, рывкнула команда.
Здесь, под Дьером, у местечка Абда...
Шел осенний запах от земли...

Как проститься в несколько минут,
пока яму тесную копали,

с тем, что жизнью раньше называли,
а теперь иначе назовут...

Как согреть в душе в последний миг,
стаскивая медленно одежду,
хрупкую, усталую надежду,
что не расстрелять любви родник...

Как вобрать в себя и этот луг,
и кусты по краю, и ракиты...
Как врагу, когда падут убиты,
доказать презренье – не испуг!

Как подруг любимых убересть,
отвести от этой смерти ранней...
Как забьется! Как застонет Фанни —
больше ни стихов, ни губ, ни встреч...

Их в деревню к ночи привели,
до кровинки выжатых войною...
Звон стихал над павшею травою.
Шел осенний запах от земли.

4. Письмо, написанное в подмосковном лесу

Фанни Радноти

Лес апрельский по-детски прозрачен,
прост и ясен, весь виден насквозь.
Если б жили мы тоже иначе,
как деревья: все вместе – не врозь,

если б пели свободно, как птицы,
не давясь от вохры за спиной...
Как же ты далеко – за границей,
путь к тебе не такой уж простой.

Лес апрельский по-детски доверчив,
всеми тайнами дарит сполна.
Неужели круг жизни очерчен
жестко так... Отгремела война,

у вас тоже весна, над Дунаем
воздух прян от цветущих ракич.
Сколько весен ушло с Николаем...
Как смириться – все рана болит,

вечерами – разверстая пропасть,

сердце еле трепещет в горсти...
Как привыкнуть нести одинокость
молча, мужнюю ношу нести

тридцать лет уже... Книги да письма
от друзей, педагога успех,
запоздалая слава... Немыслим
этот дом без него – и для всех!..

Но такой уж у нас распорядок,
что заставит застыть у черты,
как «Рыбачкам» у Маргит: сеть складок
руки глядят сквозь сжатые рты,

снова мука граничит с любовью,
вновь улыбка скользит по слезам...
Все проходит... хоть крест этот вдовий
не дано разделить пополам.

Дорогая, прости, не хотелось
о проклятой военной поре,
только что наша поздняя зрелость —
мне теперь, как ему в ноябре,

разве выпало выжить и, вроде,
перемирия хрупкую гать
наводя, уповать: перебродит
срок и наш, но под дулом стоять,

может быть, не придется поэтам,
глядя за небо, пряча блокнот.
Что уроки – под Прагою где-то
снова танки стоят у ворот...

Не отчаяться б... Весточки редки
и так долго по почте идут.
Но в апрель откликаются ветки,
паучки будто связи плетут

наши кровные, неподалеку
дятел ритм заповеданный бьет —
лес оживший наполнится соком,
брага жизни нахлынет вот-вот,

как всегда, головою кудрявой
лишь кивнет – и забыться бы рад...
До свиданья. Прости за корявость
и за путаницу невпопад

несусветную. Руки целую
твой, наверное, тысячный сын.
Вдруг учительство наше не всуе...
Адрес прежний – Пожони 1.

5. Языковой барьер

Шари Кариш, переводчику с русского

В старом городе зелени мало —
как ей выжить в гранитном нутре,
и покажется чудом, пожалуй,
стройный тополь в углу во дворе.

Лестниц путанные переходы,
ширмы, древний фонарь над столом
эхом, как от шагов пешеходов
с тех времен – все разит волшебством.

И хоть знал я, наверно, не фея
вдруг возникнет из смутной дали —
переводчик... Нет слова глупее:
переводят долги и рубли,

переводят войска и расчеты,
переводят часы и пути —
сердца раненого заботы
кто попробует перевести?

Переводят бандитов и прочих
с пересыльных барачков в Сибирь —
переводчик как тот перевозчик

неумелых, слепых поводырь.

...Вот сидим, говорим о России,
о тридцатых, сороковых.
Не от белых рубцов хирургии
как прогалины в прядях седых?

Не с того ли – какие бы лета
ни случились – не плакаться зря?
О родные университеты —
воркутинские лагеря!

До сих пор голоса не остыли,
встанешь, как на поверке с утра —
там, на зоне, свободе учили
не охранники – профессора.

Где, казалось, смысл жизни обрушен,
человеческий облик размыт,
не сгибались великие души,
не скудели большие умы.

Переводчик... Покажется просто:
запастись словарем на дожди.
Своего ли не выпало вдосталь,
чтоб чужое брать – переводы!

Может, резкий твой выговор ближе,
а иронии горше смешок

оттого, что все стены – из книжек,
горы рукописей – под потолок.

На прощание несколько строчек
лишь добавишь в копилку чужих.
Переводчик... как первопроходчик —
всю себя отдавать за других.

Стихи из сказки

1. Нищий

*И в желтых окнах засмеются,
Что этих нищих провели.*

А. Блок

К деревне нищий подошел...
беленый дом стоял у края.
Пора уборки урожая,
здесь, видимо, ломился стол

под тяжестью даров и благ,
что дарит смертному природа.
Он знал: в семье не без урода,
кто сыт, одет – кто бос и наг.

Небедный обзрев уклад,
решился. Тут как тут хозяин:
– С чего ты взял, что я богат?
Ответил: – Выбор мой случаен,

я просто голоден, устал
и дальше двигаться не в силах.
– Да у меня весь хлеб пропал

и, веришь, яблоки червивы.

– Хотя бы переночевать,
а утром я уйду. – Да рад бы,
вчера сосед – все, знаешь, свадьбы —
забрал ненужную кровать.

Тут странник сжался и затих
от низости такой в испуге...
Охранный пес, гроза округи,
послушно лег у ног босых.

– Ну, что ж... Пошел, в который раз
в своей же вере разуверясь.
Нимб вмиг зажегся и погас,
как боль, сворачивая в ересь,

такую падкую к нужде...

– О господи! Как быть послушным,
когда сомнительно и душно,
и так всегда, и так везде...

Ну, а богач торжествовал —
с пустой сумой убрался нищий.
Он не знал духовной пищи,
хоть бога, кажется, знал,

с того смутился и застыл,
раскрыв глаза от изумленья —

его кобель, гроза селенья,
с бродягой вместе уходил!

Что изменилось? Что стряслось?
С чего коровы замычали
и детям в люльках не спалось?
Ах, взрослые... о, если б знали! —

пекли хлеба, сушили смоквы.
Шел нищий, рядом – смирный пес.
Слепые! Кто подумать смог бы,
что изгнан вновь...

2. Странный человек

Он шел по выжженной пустыне...
Кончался день сороковой,
мирское с падшею гордыней
таилось где-то за спиной.
Он шел, презрев позывы плоти,
голодный, тощий, молодой,
еще не приняли лохмотья
псевдоклассический покрой.

Еще, гася елейный привкус,
он просто говорил с людьми,
перемогая власти искус,

учил не «дай!», учил «возьми!».

И шли за ним, скуля, хромая,
калек 7 – 8, пара псов,
не понимая, понимая,
к чему он звал, им – был бы кров.

А кто-то шел на всякий случай...
Как веры короток разбег!
Он все твердил «любите», мучась...
Какой-то странный человек:

плывущий взгляд, надлом манерный,
порою свет над головой —
пророк? из сумасшедших, верно?
больной?.. А что, когда святой...

3. Царь

И привели его (осленка) к Иисусу...

*И когда он ехал, постилали одежды свои
по дороге... Говоря: благословен Царь!... И когда
приблизились к городу, то, смотря на него, заплакал
о нем.*

Евг. от Луки 19, 35—41

И нарекли его царем...

А он был в общем-то бродяга,
хотя решимость и отвага
в нем зрели.

Этим январем,
едва сбежав от алчной своры
начетчиков, вдруг понял он:
– Они придумают закон
и без меня.

Круша заборы,

в предпраздничный Ерусалим
стекались толпы отовсюду —
все шли к Нему, все ждали чуда...
Двенадцать пришлых было с ним,

и, как всегда, они взроптали,
добра не отличив от зла:
– Зачем сказал – привезь осла...
Он был задумчив и печален.

– Им надо, чтоб я слыл царем,
одним из отпрысков Давида,
что им учитель... —
и обида
решимость расплавляла в нем.

Но, потакая детям сел
в окружном гаме смеха, танцев,
неся простого оборванца,

так гордо шествовал осел.

Калеки вечные ползли,
клялись, дрались, тянули руки —
он молча шел на эти муки,
глаз не подымля от земли.

Да что увидишь через лес
чужих – разверзтых, страшных ликов...
Он вынес в этом море крика —
им надо крови и чудес.
А он? Что он сказать им мог?
Как слову обратится в чудо?
Все ближе к смерти вел рассудок —
он нищий был, он не был Бог.

Тогда (сегодняшнего ль ради
от прошлых, будущих стихий?)
сказалось просто:
НЕ УБИЙ
НЕ СОВРАЩАЙ
НЕ ЛГИ
НЕ КРАДИ...

4. Истина

– Что истина? – пытал Пилат

самоубийцу ли, пророка.
Но тот молчал, лишь смутный взгляд
куда-то уплывал далеко...

Что видел он там, за чертой,
где ждали слабые собратья —
всю тщетность муки прожитой,
пропущенной через распятые?

Что истина – опять игра
со смертью, фальшь и пересуды,
три отречения Петра,
загадочный порыв Иуды?

Или потом, когда словам,
как водится, не ту окраску
дадут – и вновь по головам
все к той же власти?

Станут сказкой
его несчетное добро,
его негаснущая воля?
Пилат сощурился хитро:
– Что ж истина? —
Он видел с болью

безбожных храмов торжество
в торговле духом непристойной
и казни именем его,
его благословеньем войны,

он видел пытки и костры,
где от любви – всего обмылок?
– Отец, я выйду из игры, —
шептал, – я ношу снести не в силах...

Все сонмы жизней и могил
в мгновении пред ним предстали:
он только дверь приотворил,
он видел в общем – а детали!

И вспомнил детство, Назарет,
семью, взгляд матери прощальный...
– Зачем, Отец? – спросил.
Ответ
сгорал под золотом сусальным.

За стенами все тот же вал
толпы, собравшейся от скуки.
– Что ж истина?..
Простор молчал.
Пилат привычно мылил руки.

5. Голгофа

И жалко смотрит из одежды

Ладонь, пробитая гвоздем.
А. Блок

И все ушли...
Грозу сменила
безоблачность и тишина,
где чья-то пряталась вина
и чья-то пробуждалась сила.

О, сколько будет впереди
фальшивых слез, пустых упреков,
и детский мир, и мир жестокий,
где «покарай!» и где «прости!» —

в одном дыханье, в ипостаси
цепной борьбы добра и зла.
Все разошлись. Гроза ушла,
и с ней умолкло богогласье.

Настроят храмов, купола
взовьются к небу позолотой —
когда б оттуда вышел кто-то
явить хоть часть того тепла...

Увы, как время двинуть вспять
ни тщятся сильною рукою —
все равнодушие людское
не переплавить в благодать.

Когда бы брали от земли
лишь то, что позволяет совесть,
иначе б обернулась повесть...
Гроза ушла. И все ушли.
Через какую прорву дней
опять входить все в ту же реку:
он перестал быть человеком...
(Настолько ль богом быть трудней?)

Они не приняли его
с молитвой проходящим мимо —
когда не видят то, что зримо,
тогда и высшее мертво.

Холм лысый. Крест для всех. Закатом
стоит край неба недвижим...
Безумный, он хотел быть братом
всем, столь чужим себе самим...

Вся вера – несколько минут,
вся мука – череда столетий,
где те же церкви, войны, плети...
И сколько раз еще распнут!

Играть в подобье у икон
от сердца ль, страха кары грозной,
а все одно – толпиться розно
от давних этих похорон

до грани той, того добра
что так и не принять, как милость...
Гроза ушла. А кровь струилась
на фреске вновь из-под ребра...

Пищу, не ведая, с чего
такая вышла мешанина:
Голгофа, вечер, вопль единый...
Пускай и не было всего:

ни слез келейных на пятак,
ни запоздалой ласки женской —
мир так далек от совершенства,
безумен так, прекрасен так...

Шахматово (у Блока)

*Дремлю – и за дремотой тайна,
И в тайне – ты почишь, Русь.*
А. Блок

Дорога снова вверх и вниз
то полем, то примолкшим лесом.
Холодный май совсем раскис,
и кто его назвал повесой —

он так же грустен, как тогда,
когда сошел сюда впервые,
где стих прозрачен, как слюда,
и избы серы, как Россия.

Лишь солнце, выглянув на миг,
из ветел вырвет желтый локон —
и в прятки... Редкий птичий крик,
но, вроде, ничего от Блока.

Природе не присуща лесть —
мы все надумываем сами...
— Вот это Блоково и есть, —
какой-то голос вдруг за нами. —

А дом сожгли и по дворам
порастили, что осталось.
Тогда какая в людях жалость,
не то что дом — свалили храм!

Да что там...
Женщина ушла.
И мы одни. И одиноко.
И даль печальна и светла.
И, вроде, ничего от Блока:
ни указателей, ни стен,
куда бы глазу упереться.
Но отчего-то бьется сердце,

как птица, тянется на крен,

хотя и сгнуло давно
то время, разве ностальгия
нахлынет памятью...

Россия!

тебе иного не дано,

твой лик – леса, заглохший луг
и камень с тайною глубокой,
где, вроде, ничего от Блока,
и всюду он. Замкнулся круг.

О ней...

Хоть майское солнце дороже
разгула июньских дождей,
хоть ждать не дожидаться, а все же,
а все же – все мысли о ней.

О ней, возмущенной, да тихой,
ввалившейся в прежний застой,
принявшей и счастье, и лихо
в бескрайний простор полевой.

О ней, в полусне и задоре
притихшей от грозных рацей
со скрытой улыбкой во взоре
на добром, скуластом лице.

Голоса из ниоткуда (Строителям нынешней дороги Сургут – Уренгой)

А по бокам-то все косточки русские...
Н.А.Некрасов

Дорога шла до Уренгоя,
началом смерти был Сургут,
где знали мы, что рельсы скроют
вмененный лагерный уют.

Под лозунгом «Даешь дорогу!»
с лопатой, тачкою простой
мотали сроки понемногу,
вся слава – пайкою ржаной,

с которой вырваться едва ли
из этой адовой тайги.

Нет, мы в героях не гуляли,
мы были родине враги,

хотя всем телом ей служили
до безымянной той версты,
где просто в насыпь нас зарыли,
не тратясь даже на кресты...

Вам, нынешним, трубя победу
в подкупленных ведомостях,
припомнить бы – вы шли по следу,
на наших строили костях.

Вдали от цезаря и бога,
ломаясь сутки напролет,
для нас – в один конец дорога,
для вас – и бабки, и почет.
Готова, вроде... Поезд мчится
по гиблым топям, по лесам —
где нам по ней не прокатиться,
там вы проедетесь по нам.

Подумаешь, какое чудо —
в жопень такую поезда,
как голоса из ниоткуда
и, что страшнее, в никуда.

К сопричастности

Уже раскручивает ландыш
спиралькой парные листы,
но нет тепла. У нас неладно,
хотя виной ни я, ни ты.

Мы те же, кажется, что были
совсем недавно – жизнь назад,
а потерялись, разлюбили...
Иль время движет на распад?

Иль путаней весна: в застое
лишь делать вид, а исполать...
Когда обиды копят двое,
одно лекарство – разорвать

или, сдавая ложь за жалость,
угомониться впопыхах...
Так в холод и весна рожала
надежды в муках и слезах.

И ей в июнь катиться дальше,
разыгрывая гул страстей...
Мы сопричастны той же фальши,
коль как-то притерпелись к ней.

И что роптать, когда природа —
отечества непрочный дым?
Мы только крохи от народа
и пишем в стол, то бишь молчим.

К бродяжничеству

*Мне совершенно все равно —
где совершенно одинокой быть...*

М. Цветаева

Раздолье русских деревень
порой грешит однообразием:
собачий лай, гнилой плетень —
что здесь особенного?
Разве

иной страны иной уклад
нам будет менее дороже
лишь потому, что слух и взгляд
привыкли к этому?
И все же

ужель никак не разорвать
те невещественные путы:
речную тишь, степную стать,
лесную глушь?
Что, как раздуты

все эти бредни так давно,
когда другой плыла Россия?
Мне совершенно все равно —

где, с кем...

А если ностальгия —

на плечи старую суму
накину – поминай, как звали...
Что мне, бродяге по уму —
мой кабинет в любом вокзале!

Да, мы свободны в двадцать лет
и в сорок, хоть уже труднее,
уйти, искать, напасть на след,
ничуть о прошлом не жалея.

Но жизнь начав в который раз,
от детства как отгородиться,
как не писать все то, что снится,
остерегаясь пышных фраз,

в какой-нибудь дождливый день
в иной стране, в иной неволе:
грачей, картофельное поле —
всю скуку русских деревень..

Конец лета в Прибалтике

До ужаса хотелось к морю,
а в Саулкрасты шли дожди,
волна набухшая ворчала...
Ты пряталась под одеяло,
шептала: бог, не осуди...
Дождь моросил, и я не спорил.

Что здесь еще судьбе влюбленной,
желать бы: лето позади,
в янтарный цвет входили клены,
и так спалось, что ты смущенно
шептала: бог, не осуди...

Не знаю: случай, промысл божий?
что ожидает впереди?
Случится что-нибудь дороже,
чем в тот период непогожий —
не знаю, только бьет до дрожи
твой шепот: бог, не осуди...

За снедью утром я – на площадь,
ты умоляла: не буди...
А, может быть, все было проще,
куда деваться – шли дожди,
стояла хмарь над Саулкрасты,

и, может быть, подкралось счастье,
скупое, как его ни жди...

Последний романтик

*Горька судьба поэтов всех племен,
Тяжеле всех судьба казнит Россию.
Вильгельм Кюхельбекер*

Кончалась Тобольском волна декабризма,
оставив нетронутым царственный зал.
Наивный, далекий от будничной жизни,
последний российский романтик сгорал.

Небесные хоры... мистерия духа...
и александрийский классический стих...
Ревела пурга. Было страшно и глухо.
«Зовите Ивана...» —
«Допрыгался, псих!»

Так было всегда: одинокая скрипка
рвалась, словно пульса спадавшего нить.
Он сам понимал обреченность попытки
душе свинцовое духом пробить.

Романтик – романтиком, но отдаленно
провидя: с восстаньем дела не ахти,
он встал под крамольные эти знамена,
поскольку не мог никуда не идти.

В мороз, с пистолетом, слепой, неуклюжий,
мечтая добраться – чужак! – до царя...
И вот безнадежно теперь занедужил,
но шепот упрямый:
«А все же не зря!

Конечно, когда бы узнали солдаты,
зачем их в то утро на площадь вели...»
Минуты свободы – года казематов,
кандальный трезвон вдоль великой земли.

«Зовите Ивана...»
Пустая бабенка,
которая как-то случилась женой,
ответила резко: «Послала девчонку.
Чего разорался! Лежи, коль больной!»

Чадила лампада, и под полом мыши
скреблись не к добру. Раздражал даже звук.
«Нашелся работник! Все пишет да пишет,
бумагой набухал аж целый сундук.

А проку-то: нищий, к тому же опальный,
и мне не мужик, и малым не отец...»
Уныло поддакивал сонный квартальный,
обязанный справить законный конец.

Дверь настезь – ворвался взволнованный Пущин:
«Ну, что он? Ужели никак не спасти?»

Гнусавил дьячок:

«Грех гордыни отпущен,
с надеждой, душа, в мир терпенья лети.»

Какая ирония – слово прощанья
добило, поэт не стонал в забытье,
уже не подсуден, границу страданья
уже миновал и российский Шенье.

И Пушкин заплакал: «Так скоро и все мы...
и та же немая Россия окрест...» —
«Иван! – как сквозь тьму. – Там стихи и поэмы,
возьми!»
И застыл указующий перст...

«Еще хоть минуту! Куда же ты, Виля!..
Прощай, брат, я сделаю все, что смогу...»
Он низко склонился. А тучи спешили,
лиловые гривы трепля на бегу,

где Русь потихоньку силенку копила —
на что? Кабы знать, как она не проста...
Романтик сгорел, придавила могилу
чугунная, как с той картечи, плита.

Приметы

I

Мороз спадал на Рождество,
присыпав снегом мир нестройный...
Укрыться б именем Его
и, может быть, уснуть спокойно,

передоверив все Ему:
сомненье, веру, слабость, силу,
порыв и будней кутерьму,
рожденья, странствия, могилы,

и мир, и войны, и лото
довольно смутного болотца
добра и пошлости – все то,
за что ответ держать придется.

Но перед кем...
Вдруг не подаст
и вида, в поддавки играя?
С утра похрустывает наст,
и, вроде, вновь пора святая...

Быть атеистом нелегко,
кивая даже на потери,

где одиночество измерить
вот разве тающим снежком.

И слова некому сказать,
и не с кем сердцем поделиться.
Чего-то ждать – вернуться птицы...
А вот вернется ль благодать?

И впрямь, какое торжество
при нашей памяти убогой —
проесть, пропить явление бога...
Мороз спадал на Рождество.

2

Город высушенных иллюзий,
бред какого-то чудака...
До сих пор изумляться людям —
отчего так тускла, горька?

Только небо в январской сини
не по времени глубоко,
плащ на плачущей Магдалине
смялся, словно пласты веков.

Тот же город, и те же толки,
разве только тряпье пестрей,
те же власти, и те же толпы

и, конечно, опять еврей...

Та же терпкая участь родин,
та же подпись – Пилат, печать...
Тащим на гору крест господень,
чтоб кого-то снова распять.

А поодаль зима – снегами
все прикрыто. Белым-бело.
Почерневши, как лики в раме,
церковь рушится за селом.

Успение

*Ее спеленутое тело
Сложили в молодом лесу.*

А. Блок

С «Пьеты», что в белом мраморе,
до стиснотую рамою
каким-то богомазником
с чего-то стало праздником,

казалось бы, исконная
бадяга похоронная,
да вновь берет сомнение:
убийство ли, успение?

Попами да министрами
по пунктикам расписана,
кликушами плаксивыми
объята, молчаливая.

Талантливо расхристана
великими артистами,
живущими цитатами
лжецами бесноватыми.

С зачатия раздетая,

размножена газетами,
обряжена, как водится,
мужичкой-богородицей.

Верхами ошельмована,
пайками да приемами,
истасканная истина
загублена, расхристана.
Был сын... свели не в очередь
с непризнанными прочими
в Кресты вохрой плечистою,
где выть и ей расхристанной.

Пред гимнами осенними
ощупана, обыскана!
Какое там успение —
растерзана, расхристана.

Измылили, истратили...
нет больше богоматери,
от споров бесов с бесами
остался лик надтреснутый.

Расхристана, разделана...
и мы, осиротелые,
привычно неосознано
зарыли под березами.

Там, тернием увенчана

стократ молвой речистою,
обыденная женщина,
как Русь под коммунистами,

слегла. А что же с девою?
Весною кипень белая
опять взойдет неистово —
стоим и ждем у пристани,

пройдет ли старец, старица...
Что нам еще останется:
шептать за околицей —
что ж бога-то не родится...

Аналогии

1. Время лобное

Над Россией – сплошной туман,
бог в отлучке ли – черт ли крутит:
первой казнью починок дан,
и понесся угар Малютин.

О, заплечные мастера!
О, артисты кнута и дыбы!
Будто только вчера игра
начата, а давно могли бы.

И успели-то, боже мой,
крохи жалкие – тысяч 10,
вот промашка – сбежал герой,
кабы разом весь мир подвесить!

Тот к соседям – и был таков,
кто успел – по щелям забился...
В отпущение злых грехов
царь Иван по ночам молился.

А «зачинщиков» все везли...

В новгородской старинной Софье
за порядок в «святой земли»
колыхался звериный профиль.

Предыстория наших дней —
обличенья, доносы, ссылки,
угли, вздутые у дверей,
кровью крашенные опилки,

произволу послушный поп,
примирявший непримиримых.
Лишь молились – вмешался кто б...
Время лобное повторимо!

Место – рядом: лубянский двор,
вымпел разве иной – трехзубый,
оглашается приговор
новоявленного душегуба...

Если б только башки бояр
покатились по сбитым бревнам —
рвы сибирские, Бабий Яр,
сколько нищих и невиновных!

Над Россией сплошной туман
заплетает седые космы...
был Иван, и ушел Иван,
звать бы «нехристь», да кличем «грозный».

2. Марины

*Такова у нас, Маринок,
Спесь, у нас, полячек-то.
После глаз твоих орлиных,
Под ладонью плачущих...
Марина Цветаева*

Над Россией опять дожди,
срока смутного середина,
сзади пусто, а впереди...
Как случилась ты здесь, Марина?

Раззолоченный вертопрах,
инок нищий – и вдруг владыка!..
Белых крыльев беспечен взмах —
все сначала начнешь, поди-ка,

ни господствовать, ни любить
не умея наполовину...
Оттого не смогли сказнить
душу огненную Марины.

В ней неведомо ожила
та бунтующая певица,
остроглазая, как стрела,
остроклювая, словно птица.

Только воля всегда узка
в общежитиях да сараях —
и пошла гулять по рукам
оболочка твоя земная.

Было: тушинского вора
называла господним мужем...
На царей Русь всегда щедра,
не спознаешь – какой ей нужен.

А потом – кочевой побег,
голытьба, атаман казацкий...
Был бы правильный человек —
не случилось судьбы дурацкой,

только поздно, коль долг жены —
примириться под детским визгом...
Дни распутные сочтены
вольной матери – авантюристки,

опостылела теснота,
бой за краденую корону...
Но и в смерти своей горда —
ни слезинки из глаз, ни стопа,

тело грешное под парчу
пряча, добела холодея,
улыбаешься палачу,

выгнув царственнейшую шею...

Будет! Уж натерпелась всласть
самозванка, сестра, гордячка...
В озорной суете за власть —
что соваться в пустую драчку!

Где, избалованной, тебе
лезть в российские передраги!
Вот опять мужики в борьбе
предпочли карьеру отваге...

И певцу, чьи слова глухи
для изношенного пространства,
как читать кому-то стихи
с неумеренным постоянством...

Что докажешь в слепой стране —
обе канули беспричинно...
Отчего же метаться мне
от Марины и до Марины?

Суд истории – давний суд,
скажут: временем все замыто...
Над Россией тучи плывут —
те же жертвы и те ж бандиты.

Где бесчувственность не нова,
как пробиться мытьем посуды?..

Но Елабуга и Москва
только врядли обеих забудут.

И хоть вам не достало сил
в разновременье стать единой,
хоть не сыщешь даже могил —
да не будет страна чужбиной.

Как ни пыжится лицедей
на скрипучем, дырявом троне —
остается лилейность шей,
ускользающих от погони.

К мемориалам

1

*Восхищенной и восхищенной,
Сны видящей среди бела дня,
Все спящей видели меня,
Никто меня не видел сонной.*

Марина Цветаева

Освистанной и освященною,
забытою и обретенною,
то белой чайкой, то вороною —
ты всем слыла,

обласканной и обнесенною,
восславленной и возмущенною,
вещуньей непогребенною
так и ушла...

С шальной декабрьской метелью ли
между стихом и рукоделием
о круг стола
вдвоем сидели мы в молчании,
твои собратья по изгнанию,
метель мела.

Не голосили о покинутых,
не вспоминали об отринутых,
коль пала рать,
с последней песнью лебединою
так ты на родину единую
шла умирать...

К Москве ли, к древнему востоку ли
плыл взгляд нездешний с поволокою,
измученную, одинокую,
дыша едва,
увы, писательскими женами
отвергнутую, прокаженную,
никто тебя не видел сонною —
всегда жива!

2

*28 октября 1910 г. Лев Николаевич
Толстой бежал из родного дома...*

Этой ночью, осенней, промозглой,
натываясь на ветки в саду,
он ушел, может быть, слишком поздно...
– Не могу, не могу на виду...

Ветер конскую гриву полощет,
в жмурки с тенью играют огни.
– Умирать надо тише и проще,

не могу, не могу, как они...

Будто в пору щемящих признаний,
все решится вот здесь, на скаку:
– Надо жить, как простые крестьяне,
больше лгать не могу! не могу!

Как уехать негаданно, тайно —
в ночь вся Русь распахнула окно!
И куда, где приют хоть случайный —
к младшей, к Машеньке, в Шамардино!

Вот и Оптиная, тихая Жиздра,
страх монашек, презренье дворян...
Где былая уверенность в жизни?
– Не могу, не могу, чтобы так...

Кони, рельсы, угар, пневмония.
Соня, дети, жандармский разгул.
Из Астапово на всю Россию:
– Не могу! не могу! не могу!

Что десятков годов прогалдело...
и уже на другом берегу
из души, покидающей тело,
все одно – не могу! не могу!

На Суворовском бульваре
в январе зима в разгаре,
в хохот ветра ль, в прыск сугроба ль —
на подворье мерзнет Гоголь,

уж на бронзовой шинели
комья снега запестрели...
Но задумчиво ли, строго ль —
не с мороза стынет Гоголь!

Приглядитесь, подсмотрите,
как серебряные нити
препахабно, препроворно
расползлись по гриве черной,

как на цоколе привычно
ухмыльнется Городничий,
kozyряют власти гордо
те же в общем держиморды!

«Усидишь на пьедестале —
Русь опять разворовали!»
Милый, хоть плеча прикрой-ка...
Знать, куда-то сбилась тройка —

да вперед вела дорога ль?..
Стынет Гоголь, мерзнет Гоголь,
вновь кругом снега крутые —

стынет, мерзнет вся Россия.
«Глубже в зиму – дальше вижу...»
Голова ж все ниже, ниже,
от злодея до злодея,
как коростой, зеленеет...

На Суворовском бульваре
и в июнь зима в разгаре:
вдруг детишкам на потеху
старый Гоголь жутким смехом

разразится и застынет —
по живой по бронзе иней!
От российской от державы
тяжко мерзнуть после славы...

А кругом – автомо-били...
Говорят, мол, за-лечили...
Что там Рим, что заграница:
вся Россия – психбольница,

буйный пайкой не обижен...
Голова ж все ниже, ниже,
в глубь двора все дальше, дальше —
в сон поэзии сладчайший.

Судьба

Брату

Это было написано им на роду,
как, рыдая, кинжал ни таила Медея,
все равно отвратить не сумела беду:
пререкаться с судьбой – лишь пустая затея.

Как убийца Орест ни дрожал на пиру,
как безумный Эдип ни бежал от наследья,
все сбылось... Но судьба – тяготенье к добру,
а не дамский пасьянс, не сюжет для трагедий.

Ты решился... Что ж, наша стезя такова:
то опять уходить, то опять возвращаться,
мы на веру порой принимаем слова
с чых-то уст и бежим... От себя, может статься.

Ты уходишь... Уже подают самолет,
и не знаю, когда повидаемся снова...
Будь собою самим, и тогда повезет,
если ж нет – рок опять просльвет бестолковым.

Неужели абсурд так ужасно раздут,
что ломает шутя даже братство такое?
Может, это и писано нам на роду,

да не дай только бог объявиться изгоем,

всех своих побросав, не прийти ко двору,
ждать на каждом шагу: вон – таится расплата
за углом... Но судьба – тяготенье к добру,
коли нет его, разве она виновата?

То ли паркам тянуть отощавшую нить
нашей будничной суетной жизни совковой,
то ли нам выбирать между быть и не быть,
за собой оставляя последнее слово —

не решится само: не текут по усам
золотые меды с валтасарова пира.
Что дано на роду, каждый чувствует сам,
будь наивным борцом или странником сирым.

Листая библию

Куда только злая судьба ни бросала,
глаза превратив в общежитье скорбей,
но странно – опять же в Египте начало:
был продан Иосиф, родился Моисей.

Уловки ума перед голою силой
тогда уже праздновали торжество,
где все начиналось с великого Нила:
и бегство, и свитки страданий Его.

И как фараон удержать ни пытался
загадочный, вроде, все терпящий род —
вещал Аарон, Моисей улыбался,
и было неясно – удастся исход?

Владыку пугали то жабы, то мухи,
то язва, то град, то полки саранчи,
затихли детишки, завывали старухи...
– Катитесь, черт с вами! —
Стопы омочив,

рабы уходили под утро в пустыню,
и царь, пораженный, стоял недвижим —
рабы становились народом отныне,
упрямым, сметливым, совсем не своим...

– Смотри, Моисей, далеко не ходите,
условие помни: дня на три пути! —
Тот лишь улыбнулся: – Не бойся, правитель,
со стадом таким далеко не уйти.

По пыльным морщинам соленые слезы
текли и текли над походным костром,
и люди все шли, все гремели обозы
с припрятанным здесь же, в Египте, добром.
Молитва припахивала святотатством,
коль прятал божков от соседа сосед —
430 клейменого рабства,
жителейского, горького опыта лет...

Так брел без дороги, без пищи, без права
народ, будто с прежней поры кочевой,
к земле, по наитию свыше – кровавой,
указанной чьей-то безумной рукой.

Обнаженная

На выставке в Манеже

Натурщица была пьяна...
Легко бы все сошло за шалость,
поскольку грудь не умещалась
в размер скупого полотна.

Как ни привычно, ни старо
перепевать чужие драмы —
уперлось мощное бедро
в дощатый правый угол рамы.

Она жевала бутерброд,
застыв на кожаном диване —
раскинулся тугой живот
бесстыдно на переднем плане.

Переломляясь, падал свет
на тело пышное с балкона —
он, словно порываясь вслед,
вел тени от колен до лона...

Натурщица была пьяна,
неловко куталась в лохмотья —
модель с немного полотна

текла бунтующею плотью!

Довольный, мастер подошел,
в карман ей, скомкав, сунул трешку.
На заднем плане – рыжий стол,
лимон, буханка, рюмка, ложка...

Искусство! нет тебя грешней,
когда заглянешь на задворки.
На то и высится музей,
чтоб позабыть о черствой корке...

При кончине Петра I

*В каракулях, выведенных дрожащей рукой,
смогли разобрать только два слова:
«Отдайте все...» Кому – осталось неизвестным.
М.Н.Покровский*

Петр умирал. Рука тянулась
бессильная к судьбе страны
на после... Ужасы разгула,
ложь, воровство, истомлены

плетьюми, поборами крестьяне,
работный люд закожанел...
– Тут надо... если б знать заране...
господь, помедли – столько дел!

Бывало бито-перебито:
башки стрельцов клонились ниц...
Бывало пито-перепито
и перепорчено девиц...

Чего там кружкой – пей корытом! —
и слег, не поднимая глаз...
Судьба – царя? полубандита? —
не пощадила в этот раз.

Поспешное соборованье —
полунамек на с небом связь.
— А завещанье! завещанье! —
уже роптали, не таясь.

«Отдайте все...» — перо упало,
не дописав, владеть кому...
Снимали маску для металла,
на память рвали бахрому
от покрывала. Снова споры,
кому тащить такую кладь:
— От всепьянейшего собора
посуды некуда девать!

— Солдаты дюже отощали,
не платят года с полтора!
— Суда рассохлись! На Урале —
бунт! — Затаилась немчура!

Все шито на живую нитку,
не столько дела — сколько вид.
Екатерина для прибытка
с гвардейцами и пьет, и спит,

награбить тщится Алексашка
для перезрелых дочерей...
«Великий Петр» — скорей промашка,
отрыжка диких прошлых дней.

Свои ль, чужие – все ровняли,
и он сровнять хотел, пока
дышал – и вот на одеяле
уже бессильная рука,

голов срубившая немало,
облапившая столько баб!
«Отдайте все...» – толпа рыдала,
хотя не кончился этап:

тюрьма, кабак, фонтан с секретом —
туристам только б не в январь.
«Отец отечества...» – и это
единственный толковый царь!

В России так или иначе,
а все сведется к одному:
как ни был Петр неоднозначен —
не жить, однако, по уму...
Народ привык, ему едино:
беснуйся, режь, моли, проси —
царя «Великого» кончина —
старт новой сказки, гой-еси!

Какой ни явится наследник
или наследница (гадай!)
орет, не выстояв обедни:
– Свободна шея, запрягай!

Спустя века решит историк,
за что хвалить, на что пенять,
ну, а народ... так то же море:
шумит, о чем – не разобрать.

В очередное пепелище,
казалось бы, подняться над...
Хотя и наши толковища
по кухням разве что решат?

Два лермонтовских отрывка

1

Опять, как в лермонтовском цикле,
и деться некуда, и масть
не валит... Как-то мы привыкли,
и толк один, что жить, что пасть.

Когда поставлена на карту
в чужой игре судьба твоя,
хотя бы дотянуть до марта,
хотя бы избежать вранья

и, стиснув зубы улыбаться,
не разжимая кулаков...
Вся привилегия богатства —
хотя б не продавать стихов,

все преимущество дворянства —
на шашки горские лететь
и, слава богу, не от пьянства
в хмельной России умереть.

Не тешить ни крестом, ни чином
себя, друзей: годов в обрез —
всегда найдется свой Мартынов,

чужой, но тоже свой Дантес!

Укрыться ль в лес, в благую память
деревьев, трав, кого-нибудь...

Отыщется, кому направить
слепую пулю точно в грудь,

а там...

А там какое дело,
как бабушке передадут,
как закричит осиротело,
как оболгут, как вознесут...

Опять, как в лермонтовском цикле,
и не принять, и не проклясть —
мы тоже ко всему привыкли,
и, как ему, не валит масть.

Спешим, как будто опоздать
боимся, хоть все то же право:
дуэль – картежная забава,
на пулю пульку променять.

2

Как много надо для души —
как мало надо на похмелье.
Желчь обесцветила веселье...

Поручик Лермонтов, скажи,

что нам осталось – суета
надуманного и земного?
Тщета людская бестолкова,
а созерцанье – скука та ж?

Вся жизнь – меж стрельбищ и стихов,
на небесах и полигоне...
Успех – не глупая ль погоня,
потуги дедов и отцов?

Смиряться или прекословь,
но средь законного бедлама —
что наша маленькая драма?
что наша терпкая любовь?

Опять в поход... пора... пора...
заложены перекладные.
Так открывается Россия:
от постоянного двора
за перегоном перегон —
все та же скука да рутина.
Родным березам и осинам
что наш пустой полупоклон?

Круг завершается вот-вот,
уже отлита кем-то пуля,
всего два шага до июля,

а мелких дел невпроворот...

Увы, потонут в них опять,
казалось, дерзкие начала,
вошло в привычку – жить на малость,
как рубль на мелочь разменять.

Ужели выдержки предел,
или тоски предел ужели —
тебе знаком секрет дуэли,
давно задуманный расстрел.

Что ж мелочиться – год ли? пять? —
в конце концов, не все ль едино?
– Мартышка, выскочка Мартынов,
ты, говорят, умел стрелять...

О той войне

Что с той войны...

Казалось, что сошла
кровавой пеной вздувшаяся память —
иные предсказания душу ранят,
разгул иной грозит из-за угла.

Что о войне...

Опять принуждены
то славить, то клеймить попеременно
уклад полуживой, полувоенный,
хотя прошло достаточно с войны,

хотя понять давно уже должны:
довольно прятать мысли и тетради!

Что о войне, когда опять в осаде,
вот разве окна не затемнены.

Она прошла, ты 30 лет молчал
и до сих пор молчишь – хвала ль урокам?

Что о войне...

Увы, не вышли сроки,
и где-то заседает трибунал,

и где-то льется кровь, и в глубине
тревожно, хрупко дремлющего мира

клепаем мы ракеты не для тира,
хоть полон склад!
И что о той войне...

Плач по...

Жизнь уходит...

Суди – не суди,
справедливости все не добудем,
и апрель потянул на дожди —
плач по людям!

Как ни кружит весна, холодней
мы друг с другом, несхожие нравом,
и чем глубже различья людей —
плач по травам!

Раньше осень вгоняла в тоску —
нынче май заскулит по-щенячьи,
отозвавшийся в левом боку,
плач по плачу!

Не пора ль собираться в отход,
оглянувшись сперва на потери...
О, утративший искру народ,
плачь по вере!

Кабы небо, синей бирюзы,
всколыхнуло кровавые маки...
Нудный дождь, и не слышно грозы —
плач по драке,

где простимся, засыплем землей
павших в честной, бессмысленной схватке —
плач над миром... И снова домой —
игры в прятки.

Ночное купание

И южное небо, где звезды вразброс
рассыпаны щедрою чьей-то рукою,
и море в привычном ему непокое
о чем-то своем размышляют всерьез.

По берегу вправо каких-то огней
мелькание, издали ропот вокзальный...
Как молодость наша, как сон изначальный,
какая-то девушка, юноша с ней.

Как будто устав от запретных годин,
не остерегаясь и с вызовом даже,
одежда упала – полоска груди
мелькнула внезапно на сумрачном пляже.

Две тени хмельные. Объятия. Визг.
Волны пробужденной косматые пряди.
Старуха Луна, из-за облачка глядя,
припрятала свой инквизиторский иск.

На грешном земном, на небесном суде
их кто-то осудит, им что-то подскажут,
но в это мгновение без эпатажа
два тела – святое крещение в воде.

Ночное купание, как острие
в фальшивом, похабном, трусливом простом,
где следом с ответным призывом прибой
забились два сердца: твое и мое.

На рынке

На рынке сталиным торгуют,
дешевка – три рубля лубок,
как две головки в поцелуе
или с голубкой голубок

потянут в дальнюю дорогу —
в зеленоватый ореол...
Так мы наивно ищем бога
в тех, кто безгрешным не ушел,

и крутим старые пластинки
и кипы желтые газет
мусолим, будто бы на рынке
вождей добрей и проще нет.

Как будто все забыто: пайки,
охранки, пятые углы,
по кровь затянутые гайки...
Но вот опять из-под полы

усов серебряная проседь
да взгляд замасленный извне —
ужели вновь царя запросим
по сходной вроде бы цене?

Ужель опять напропалую,
хоть не отмотан прежний срок...
На рынке сталиным торгуют,
дешевка – три рубля лубок.

Троица

(по мотивам фильма А. Тарковского)

Под роспись храм еще был не готов —
свежак, хоть год, чтоб устоялись стены,
а вот иконостас... И он без слов
пошел на эту тягу, инок бренный.

Шел месяц, два... троилось божество
неуловимо... Образом единым
однажды лишь окликнуло его,
за кисть впервые взявшимся, повинным

в гордыне разве... Кто ж из нас судьбой
не крылся, глупый! Кто в года ученья
не клялся, не бахвалился собой!
Насколько позже к нам сошло смиренье...

Тогда-то и ему был послан знак
негромкого, нездешнего доверья —
мальчишка, как он плакал, бился как,
негодный в рядовые подмастерья!

Теперь не юн, но гладкая доска
все так же туго шла к нему на милость,
застыла Русь раздробленной пока,

разграбленной – и божество троилось.

Он знал нутром, как путь его далек
к тому, что было истинным началом...
Как будто вышел царственный чертог —
а божество все так же ускользало,

хотя овалы оживали, звук
ложился на приспущенные плечи
немых фигур... Но от его ли рук
непостижимый дух очеловечить

зависело... Как долго он искал,
не отрекаясь от тщеты великих,
природный, человеческий идеал —
вот снизошли три женственные лика!

Знать, все-таки смогла его рука,
хоть оставалось силы уж немного,
не божество склонить до мужика —
простого мужика поднять до бога!

И будто кем-то пущены часы:
шли братья, как захлеб, глаза тараща
на эту лепоту, на диво – аще
не ведали еще такой красоты.

Стояла осень. Сквозь набатный гуд,
далекий от земной людской корысти,

он улыбался: «Мой ли это труд...» —
и клал в суму белилы, охру, кисти...

Над белым храмом стайка голубей
тянула к миру вопреки указам.

– Куда теперь потащишься, Андрей?

– Куда-нибудь, нужда где в богомазах...

– Ну, а пока? – Туда, где узь и ширь
да небеса нахмурены и святы
над сводами... – В Андроньев монастырь?

– Там все мое, хотя и тесновато.

Подруги художников

Подруги художников, девочки, женки,
седое подобье затасканных граций,
как вы молчаливо стоите в сторонке —
за ними, великими, где вам угнаться!

Чего ни терпели от ваших любимых:
уходы, измены, чудачества, грубость —
а что выходили на свет героини,
не ваши несущие груди и губы,

кто знает... И это им тоже прощали
и красили, плача, могильный штакетник.
Не в славе их дело, не в вашей печали —
зачем не смолкают досужие сплетни,

зачем, ковыряясь в чужом откровенье,
глумиться над тайной чужой позволяем?
Подруги художников, их вдохновенье,
их яркое пламя, вина их мужская...

Некрасов и Пушкин, Толстой и Есенин
и все, в чьей интимности рылись упрямо,
их Сони и Зои, Натальи и Ксеньи,
их радость и мука, их счастье и драма —

какое нам дело? Судить ли охальных,
что в душах мятежных не знали покоя?
Ужель не достаточно собственной спальни —
так тянет в грязцо погрузиться чужое!

А что, коль и было изрядно та-ко-го,
что нашим не выразить нищенским слогом?
Ах, люди, ужели всей жизни основа —
нехитрая зависть под носом у бога?
Ужели коситься на лик искаженный,
слушочки сложивши листочек к листочку?
Подруги художников, женщины, жены,
вошедшие плотью в их каждую строчку...

Какое нам дело, кто венчан, не венчан,
досужие судьи пусть ищут в отбросах.
Святое искусство исходит от женщин,
и где оно ярче, паскудным доносам

не место, не место и нашей корысти,
без спроса готовой на роль понятого.
Задача не столько в попрании истин,
сколь в том, чтоб оставить хоть каплю святого.

К музыке

Бетховен. Пятая. Увы,
герой чуть-чуть сентиментален.
И мне бродить среди развалин
деревни на виду Москвы.

Каков декабрь! Сорвали пни
седые шапки, тьмы проталин,
и весь пейзаж сентиментален,
глухому гению сродни.

Аккордами стоят дубы
у выхода, поближе к полю —
его ль исполненные болью?
с ним, непростым, одной судьбы?

Бетховен. Пятая. Полет.
Поток страстей стремится к устью.
О, музыка! твое искусство,
как и декабрь – то в жар! то в лед!

Но оттепель – скорей намек
сентиментальностью грешащим:
расслышим в поредевшей чаще
созвучный жизни кровоток,

чем гений на краю Москвы
аукнулся?
Беда ли в слухе,
когда и не глухие глухи...
Бетховен. Пятая. Увы.

Полковник Ракеев

*Майору Старосветову Ю. А.,
начальнику 60 о/м г. Москвы
Рядовой Ракеев охранял от народа гроб
с телом Пушкина, который тайно сопровождал
на Святогорский погост.*

*Полковник Ракеев приходил
арестовывать Чернышевского на 19-летнее
заключение в Сибири.*

Полковник Ракеев... с нуля, рядовым
он начал шпионить в середине 30-х,
и снежной зимою летел в провожатых:
гроб черный был нем и поэт недвижим.

Полковник Ракеев, бурбон, однолюб,
изрядно обмыв повышение в чине,
замыслил карьеру – стодиться царю б
в любом, даже в том, что так стремно донине.

Полковник Ракеев уж поднаторел
в российской великой фискальной ухватке —
святой ореол охраненья порядка:
там виселиц ряд, там Сибирь, там расстрел...

Полковник Ракеев, кому мы должны
пеаны сложить за усердье, участие —
как он Чернышевского брать в одночасье
примчался – недаром, знать, валят чины!

Ракеев... казалось, простимся, тот век
как будто ушел – но и ныне поэтов
«хранят», хоть дуэльных теперь пистолетов
не сыщешь, да им-то – все в тот же набег...

Кто мыслит, читает – какой разговор! —
опасны, и я на полжизни запомню:
за книжки в «Березке», пока не полковник —
терзал меня точно такой же майор!

И те же приметы, и те же черты:
бесчувственны, наглы, слепы, твердолобы —
им каплю тепла человеческого кто бы
привил... Да молчим, поджимая хвосты,

покуда угрюмо стоит Мымрецов
у будки, и так же орет Пришибеев,
властитель России – полковник Ракеев,
начавший «дознание» до наших отцов

и нами не кончивший... Тишь да простор
в отчизне да вечная боль за поэтов:
когда-то Ракеев, теперь Старосветов...

Талантов на счет – тех всегда перебор.

Страстная неделя

Я плакальщиц стаю

Веду за собой.

О, тихого края

Плащ голубой!

А. Ахматова

Страстная неделя... Как путь до креста
нелегко! Избитый, он двигался еле,
кроили сподвижницы меры холста —
страстная неделя!

Потомки ковали святой ореол,
на месте церковей уж святоши галдели.
Почти разуверясь, он еле дошел —
страстная неделя!

Поникли товарищи, плакала мать,
негодная к свыше указанной цели.
Он душу раскинул – кого бы обнять...
Страстная неделя!

Случилось однажды, что перейден мост
страданий, все муки схоронены в теле,
да люди укрылись за притчи, за пост —
страстная неделя!

Я плакальщиц стаю веду за собой...
Не долго рыдали, не долго скорбели:
владелец, властитель нам нужен — *живой*
страстная неделя!

Но, верные сказке надуманной той,
омоем грехи в золоченой купели.
Где он заплатил и какую ценой...
страстная неделя!
Страстная неделя... Что ж, иконостас
искусной резьбой обрамлен деловито.
Как будто бы спишется что-то и с нас
за подвиги чьи-то...

Над куполом снова грачей перезвон
да плач запоздалой апрельской капели —
с доски ль, с штукатурки безмолвствует Он...
Страстная неделя!

У Пастернака (в годовщину ухода)

Крутые сосны были помоложе
и ели много ниже, реже сад,
как он уже ушел... Пути назад
не отыскать... Великое «быть может» —

тоска по снисхождению нищих сел,
ручью внизу, поникнувшему дому?
Зачем же к Пастернаку я пришел
так поздно... Обратиться по-иному

уже никак — в порывистом лице
того же бенкендорфовского жала
следы. Май захлебнулся на конце
и помертвел — поэзии не стало,

все возвратилось на круги свои:
страна в привычном культе кожанела,
в овраге еще бились соловьи,
хоть в церкви и отпели чье-то тело.

И были так похожи сын и внук
на старшего, теперь уж — на подобье,
где люди тесно сгрудились вокруг

плиты, глядевшей тоже исподлобья.

В сторонке, будто палку перегнуть
боясь, застыли два слуги закона.
В век следующий руки протянуть
ужель никак сквозь царские кордоны?

Опередим их – вынесем погост
чуть-чуть правей, к Измалковскому пруду,
где этот май последний был непрост
и, как всегда, богат на пересуды:

ослабят, мол, цензурный карантин,
когда весь Запад встал... Все те же грабли,
не осознав потери... На помин,
на посошок упасть последней каплей

слезою с ив, где плещется туман,
прощальным дивным эпосом ответным,
где был пейзаж весенний передан
словами, что сплелись со свежим ветром.

Пришелец

*Приходящий в ночной тишине,
говорят, что ты невидим...*

Н. Рерих «Вестник»

Приходящий в ночной тишине,
говорят, ты невидим. Как верить...
Зримо мы ощущаем потери
Впрочем, это не главное – с чем

ты пришел, для какого участия,
по домашним своим, по стране.
что ты сможешь решить в одночасье
в тьме сплошной, коль не явен и нем?

Разве луч твой скользнет напоказ,
окрыленный напутствием вестник...
Мы на ощупь поем эту песню,
что когда-то вводила в экстаз,

коль послал тебя юный наместник
с паутинкой морщинок у глаз...

К началу лета

Раскосой образности срок
с прошедшей молодостью минул,
хоть май старался, сколько мог,
сырым ветрам подставив спину.

Гонимый стражей скоморох,
в осаде он держался еле,
хотя подлесок не просох,
лишь снег сбежал по лапам елей.

Волоколамский монастырь
в руинах как свидетель схваток...
Откликнется ль такая ширь,
коль ни намека на достаток?

Об этом ли, ином о чем,
раскрыв зеленые знамена,
листва поделится с грачьем,
корзины вьющим в мягких кронах.

И вместе с легкостью одежд,
вывождением тел и мыслей,
птенцами трепетных надежд
май проскользнет меж прелых истин.

Что сможет он? Каким путем
нас проведет среди обломков?
Все, что оставлено потомкам —
пейзаж, где свищет божий дом

в два пальца вслед, где то звенит
малыш-июнь, как погремушка,
то, жадно обхватив подушку,
причмокивая, сладко спит.

Смешно просить, чтоб дал зарок
нас не судить за чьи-то вины,
когда по молодости минул
раскосой образности срок...

Играем Шекспира

Играем Шекспира...

Какая игра —

зигзаги сюжета известны заранее:

кто трезв, кто соблазном короны изранен,

кто холоден в чувствах, кто пламя костра

изведал. Загадка ль — кто брат, кто сестра,

кто нищий, кто ценит коня за полмира.

Как все повторимо...

Играем Шекспира,

слепые, под атомный взмах топора.

Играем Шекспира, хоть смыты давно

картонные замки, дубравы Норфолка,

забыто понятие сыновнего долга,

Офелии курят да хлещут вино,

сменились дома, государства, цари,

отныне в одежке обычной злодеи.

Играем Шекспира, менты в лицедеях,

народы все те же: грабь, силуй, дури —

полслова б напротив... Опять пересказ

про Клавдия, Яго, Эдмонда, Макбета —

играем Шекспира.

Фальшивой монетой
за чьи-то страдания каждый из нас

заплатит.

Кто б главную роль разучил
не сцене куда-то летящего мира!
Гнилая погода. Играем Шекспира
в ракушке суфлерской без текста, без сил...

Статисты, иное что мы-то смогли б
поставить в чреде перекошенных действий —
любовь двух наивных детей? на злодейство
не меч обнаженный – трусливый прогиб?

Сквозь хлам декораций летим на ура,
списав все потери на торжище рока.
Где игры рассудка – скорее морока,
играем Шекспира.
Какая игра...

Черта

1

Подводим итоги: октябрь оплошал,
пытаясь прикрыть несмываемый лозунг —
бесцельно метался всесильный угрозыск,
с утра обложив непокорный квартал.

С молчавших веками деревьев несло
кровавыми листьями, с думой о воле
вгрызался подлесок в капустное поле,
за городом падало в осень село.

Напрасно гаишники у кольцевой
пути перекрыли незримому вору —
пушистый снежок, подрывавший опоры,
сдержать не сумели под самой Москвой.

Опять патрули, патрули, патрули —
хотя бы числом, коль не вышло уменьем...
Как будто расправиться с белым движеньем —
единственный путь обновления земли.

Однако потуги кроились не зря —
весь улей, на зиму залегший, разбужен,
снег вытопан, изгнан, вновь слякоть и лужи,

с грязной похоронный парад ноября...

Подводим итоги: осенний провал
подернут каймой под казенную мерку,
декабрь, на Лубянке прошедший проверку,
вот-вот прибывает на прежний вокзал.

2

Открываем совет недовольных:

повернула природа к зиме.

С потаенной в лесах колокольни —
застоявшийся гул, как знаме-

нье разворота планеты ль, погоды,
смены тех, кто сидит на руле?

Гул, как будто глубинные воды
прорвались и тотчас на коле-

ни повалились, как люди, деревья —
надоело копить на прокорм...

Недовольство подстать недоверью,
что стянуло, как лужу ледком.

И все гуще, зазывнее звуки
из облупленных царских ворот
под нетрезвые рабские муки,
под холодный хозяйский расчет.

Гул сродни бесшабашным весельям,
вакханальям во время чумы,
будто плач по порубленным елям,
будто мы – это вовсе не мы

и Россия совсем не Россия,
хоть привычен духовный провал,
подошедший, увы, не впервые
к алтарям, где пророк не жилал...

Зимний лес захмелел, как раскольник
в потаенном молельном дому:
– Открываю совет недовольных, —
явит, – было б собраться кому...

Песня кантора

Нам с музыкой-голубою

Не страшно умереть...

О. Мандельштам

Толпа интересантов,
кому б какую власть...
но жил в местечке кантор,
не в славу пел, а всласть.

Его корили гласно
за непотребный пыл.
— Жизнь все-таки прекрасна, —
он пел, как говорил.

Пускай на самом деле
был нищенским размах,
но люди песни пели
на всяких языках.

Пускай враждой грозили
Христ, Яхве и Аллах —
смеялись и любили
на всяких языках.

Практичны дилетанты —

рассчитан каждый слог,
но жил в местечке кантор,
что вот не петь не мог.

Кто руки грел на пасхе,
в дни смерти и крестин,
а все его богатство —
разбитый клавесин.

Пускай круги блестели
на вытертых локтях,
но люди песни пели
на всяких языках.

Куда сбежать от пыли
в молельнях и церквах —
но пели, как любили,
на всяких языках.

Петляла змейкой речка,
цвел по пригоркам мак...
Ворвался в то местечко
любви и песен враг,

приказом коменданта
всех гнали на расстрел,
и старый нищий кантор
в последний раз запел...

Нам сохранило поле
трагический рассказ —
о мужестве и воле
он пел в последний раз.

Сеть нот на обелиске,
на каменной строке
на русском, украинском,
еврейском языке.

Увы, горит бумага —
клочка ни одного,
но вечна к песням тяга,
что шла и от него,

и не сойдет, наверно,
пока над крышей дым.
Кто ж больше правоверный,
все так и не решим...

К урокам истории (битва при Анкаре 20 июля 1402 г.)

И снова осень валит Тамерланом...
А. Ахматова

До осени совсем не далеко —
сухим желтком подернутся листочки,
а там уже скатать такие строчки,
что полетит под горку снежный ком.

Когда на Баязета Тамерлан
орду надвинул, не смутились турки:
— Куда вы, кочевые полудурки,
нас охранят отвага и Коран,

тут будет вам последняя война —
от наших сабель гнется Византия!..
Беспечно спали улицы кривые,
Луна была по-южному смурна.

Ну, а Тимур ни разу не прилег —
все пять ночей он обходил кибитки,
железный, странный старец... Слабой ниткой
тянулся пульс куда-то на восток.

Чего он ждал еще? Сухих земель
иль куража на вражеской могиле,
своей мужской игры сберечь не в силе?..
И тело девичье, стелившее постель

монарха, оставалось молодым,
трепещущим, молочным, незажженным...
В конюшне Баязета ржали кони,
от кобылиц покрытых стлался дым...
Рожки пастушьи взвыли на заре,
неслись войска навстречу в тучах пыли —
диктаторы опять прибегли к силе,
кровищи пруд пролив при Анкаре

за гордый взгляд, за лавровый венок,
нарезанный от вырванного древа...
А на кошме очередная дева
ждала, но страх напрасно бил в висок.

Тимур стоял над сжавшимся врагом,
шептавшим: «Ты купил моих эмиров!»
Тот, прежде чем ударить каблуком,
изрек: «Ты крив, я хром – мой бог, кто правит миром...»

Уже июль испуганно дрожал,
коль осень залегла за косогором...
История, как утренний вокзал,
набитый до уборки всяким вздором.

Февральский зазимок

Февральскую пляску погон,
парад еле выживших строчек
и громкую клинопись прочих,
намотанных на граммофон,

мы с детства делили на три
церковных и матерных слова.
Поэзия где-то внутри,
как сердце, стучит бестолково

по первому чувству, по пе-
рвой ранней, несмелой капели.
Вдруг что-то зайдет в тебе,
вдруг что-то прорежется еле —

и двинутся соки наверх
к изломанным веткам и почкам...
Слова отрастают под почвой,
и злой полицейский набег

метелей, погоней, блокад
корням пробужденным не страшен.
Пускай марширует парад
по каменной площади нашей,

привычной, залитой не раз
портретами, танками, кровью —
к затверженному пустословью
добавит что царский указ?

Вот-вот понесутся ручки,
изрежут подручную наледь —
бокал до краев уже налит...
Цензура хотя и ворчит,
поэзия – полунамек
в стеченье слепых обстоятельств,
воскресший зеленый росток
на почве любви и предательства.

Бьет тоненькой струйкой родник,
плат белый насквозь уже вымок,
и в этот февральский зазимок
слова, как под пленкой парник:

поэзия где-то внутри,
укрытая тонким покровом...
Все прочее делим на три
церковных и матерных слова,

как делали учителя
во дни лагерей и застоя:
подняться со встречной волною
и петь, не сбежав с корабля.

В эстонском сельском храме

1. Литургия

Шла литургия в храме, пел орган,
и в лад органу обнажалась скрипка,
сиял алтарь... Еще одна попытка
позвать Его.

Великий океан

тщеты веков, надежд, греха, добра —
глазело все на высохшее тело,
горели свечи, музыка хрипела,
томился хор, и ритор звал – пора!..

Шел час, другой. Сползая на зевок,
настрой мельчал, снижалась амплитуда —
Он не пришел...

Внеплановое чудо
отложено опять на некий срок.

Все разбредутся, сторож на замок
замкнет врата до будущей субботы,
когда орган на миг взнесет кого-то,
кому не размотать страстей клубок

Его ли? наших?
Зачумленный лес
войн, бесполезных споров, пересудов —
орган гремит... Ну что ж, хоть нет чудес,
почти не веря в чудо, жаждать чуда.

Все та же паства мы, хоть столько лет
бредли этапом, где одни утраты,
сидим и ждем: вдруг оживет портрет
на алтаре... тогда не виноваты!

2. Плач Магдалины

О, как ты худ, Иисус, и в волосах
репы застряли, и лицо в веснушках,
а голова, не знавшая подушки,
как сплюснута. Врут нимбы в образах!

Ладони, пригвожденные в слезах
дежурных чьих-то, и чернеет номер
по списку, неужель ты вправду умер...
Коль так, какие нимбы в образах!

Я не любила этот мелкий страх
за будущность, и, право, не грешила,
когда не сына божьего любила,

того, что размалюют в образах.

Ты не иконой был – ты был живой
и нас учил любить людей со страстью,
как любят женщин! Что тебе до власти
церковной, государственной, иной...

Как нам принять за истину доску,
орущую про боль твою и муку,
где и меня, как святочную суку,
заставят продавать мою тоску.

Конечно, сложат мифы: и родню
придумают давидову, и чудо
зачатья, вознесенья, где я буду
блудницей... пусть... Тебя похороню

так просто, по-людски, как было нам
завещано праматерью единой.
Быть Человеком меньше ль быть, чем сыном
Того... Ах, люди, люди – им бы храм...

3. Замена

Не этот костяной мешок
то падал ниц, то рвался в выси,
смирялся и мятежно мыслил —

как это втиснуть в сотню строк

всегда не тех...

А что пуста

могила – что ж, текла бы сказка

дежурная: распятые, пасха,

кулич, кутья – вся суета

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.